

*Посвящается мисс Сук Фолк, чью глубокую
и искреннюю привязанность мне не забыть*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда я впервые услышал о голосах травы? Задолго до того, как мы поселились в кроне персидской сирени. Стало быть, не этой, а предыдущей осенью. А рассказала мне о ней не кто иная, как Долли; больше никто до такого бы не додумался: голоса травы.

Если вы выйдете из церкви за пределы города, то вам не миновать заметного холма с белыми, как кости, могильными плитами и выгоревшими бурыми цветами — баптистское кладбище. Там покоится местный люд: Талбо, Фенвики, моя мать с отцом и многочисленная родня — два десятка могил, расплывшихся во все стороны, подобно корням каменного дерева. У подножия холма раскинулась прерия, поросшая высокой ковыль-травой, меняющей окраску по сезону; осенью, в конце сентября, она может поспорить с закатным солнцем, алые тени пробегают по ней огневыми сполохами, и ветер извлекает из сухих побегов живую музыку, голос арфы.

За прерией темнеет прибрежный лес. Вероятно, в один из таких сентябрьских дней, когда мы собирали в лесу коренья, Долли и сказала: «Ты слышишь? Это прерия рассказывает человеческие

истории. Она знает все про тех, кто лежит на холме, кто жил когда-то, а когда мы умрем, расскажет и про нас».

После смерти мамы мой отец, коммивояжер, пристроил меня к своим незамужним кузинам, Верене и Долли Талбо, родным сестрам. Раньше меня не пускали к ним на порог. По невыясненным причинам Верена и мой отец не общались. То ли папа попросил у нее взаймы, а она отказала, то ли дала ему в долг, а он не вернул. Но можно не сомневаться, что все упиралось в деньги, так как для обоих не существовало ничего важнее, особенно для Верены, богаче которой не было никого в нашем городе. Аптека, галантерея, бакалейная лавка, бензозаправочная, контора принадлежали ей, а чтобы всем этим завладеть, потребовалась железная воля.

Короче, папа сказал, что ноги его не будет в ее доме. О сестрицах Талбо он говорил страшные вещи. Сплетня о том, что Верена «мафродит», жива и поныне, но особенно мою мать возмущали его издевки над мисс Долли Талбо; постыдился бы потешаться над тихой безобидной женщиной, говорила она.

Мне кажется, они очень любили друг друга. Мама плакала всякий раз, когда он уезжал торговать бытовой техникой. Она вышла замуж в шестнадцать и не дожила до тридцати. В день ее смерти папа сорвал с себя всю одежду и, выкрикивая ее имя, голый выбежал во двор.

На следующий день после похорон к нам пожаловала Верена. Помню, с каким ужасом я наблюдал за ее приближением: по дорожке шла худая, как плеть, красивая женщина с седыми прядками

волос, черными мужеподобными бровями и кокетливой родинкой на щеке. Она открыла дверь и похозяйски прошла в дом. Тут надо сказать, что папа после похорон принялся ломать вещи, не в бешенстве, а спокойно и методично: забредет в гостиную, возьмет в руки какую-нибудь фарфоровую фигурку, секунду поразмышляет — и разобьет об стену. Пол и лестница были усеяны осколками стекла и разбитой посуды, на перилах висела, вся разодранная, одна из маминых ночных рубашек.

Верена окинула взором следы разгрома.

— Юджин, мне надо с тобой поговорить, — произнесла она дружеским, холодновато-приподнятым тоном, и папа ей ответил:

— Верена, ты садись. Я ждал, что ты придешь.

В тот же день к нам заглянула Доллина подруга, Кэтрин Крик, и собрала мои вещи, а папа привез меня к представительному дому в тени деревьев на улочке Талбо. Он попытался меня обнять, когда я вылезал из машины, но я с перепугу выскользнул из его рук. Жаль, что мы тогда не обнялись. Потому что несколько дней спустя по дороге в Мобил его машина пошла юзом и упала в пропасть, пролетев пятьдесят футов. Когда я снова его увидел, у него на веках лежали серебряные доллары.

Если раньше на меня никто не обращал внимания, ну разве отмечали, какой я коротышка, то теперь на меня показывали пальцем: «Бедняжка Коллин Фенвик». Я старался выглядеть жалким, зная, что всем это нравится; каждый встречный и поперечный угощал меня стаканчиком лимонада или карамельным батончиком с орехами, а в школе

я впервые получал хорошие отметки. Поэтому прошло довольно много времени, прежде чем я успокоился и обратил внимание на Долли Талбо.

И сразу в нее влюбился.

А представьте, каково было ей — в доме появился шумный, всюду сующий свой нос одиннадцатилетний мальчишка. Заслышав мои шаги, она уносилась прочь, а если уж некуда было деваться, закрывалась, как скромница-роза, складывающая свои лепестки. Она была из тех, кто легко выдает себя за предмет обстановки или тень в углу — вроде есть, а вроде и нет. Она носила бесшумные туфли и простые платья до самых лодыжек — вылитая девственница. Хотя она была старше своей сестры, казалось, будто та ее удочерила, как впоследствии усыновила меня. И, попав в гравитационное поле планеты Верена, мы вращались вокруг нее, каждый по своей орбите, в разных уголках дома.

Чердак, этакий запущенный музей, заселенный старыми манекенами-призраками из вышеупомянутого галантерейного магазина, еще был примечателен гуляющими половицами, раздвинув которые можно было заглянуть практически в любую комнату. Доллина, в отличие от остальных, заставленных громоздкой строгой мебелью, ограничилась кроватью, конторкой с зеркалом и стулом. Ее можно было бы принять за монашескую келью, если бы не одно обстоятельство: потолок, стены и даже пол выкрашены в чудной розовый цвет.

Всякий раз, когда я за ней подсматривал, Долли занималась одним из двух: или, стоя перед зеркалом, подстригала садовыми ножницами и без того короткие седые с желтизной волосы, или что-то пи-

сала в коленкоровом блокноте чернильным карандашом, периодически облизывая кончик и иногда как бы пробуя на язык записываемую фразу: «Не ешьте сладкое. Конфеты и соль — верная смерть». Сейчас-то я знаю, что она писала письма, но сначала это было для меня загадкой. Кроме Кэтрин Крик, единственной своей подруги, она ни с кем не виделась, а из дому выходила с той же Кэтрин не чаще чем раз в неделю, чтобы собрать в лесу ингредиенты для настойки от водянки, которую она варила и разливала по бутылочкам. Позже я узнал, что у нее были клиенты во всем штате, им-то и адресовались все эти письма.

Комната Верены, соединенная с Доллиной коридором, скорее напоминала контору: бюро с закрывающейся крышкой, куча гроссбухов, каталожный шкаф. После ужина, сев за стол и водрузив на нос зеленые наглазники, она переворачивала страницы своих гроссбухов и подсчитывала прибыль далеко за полночь, когда уже гасли уличные фонари. Хотя Верена со многими поддерживала деловые, можно сказать, дипломатические отношения, близких друзей у нее не было. Мужчины ее боялись, а сама она, кажется, побаивалась женщин.

Когда-то она сильно привязалась к жизнерадостной блондинке Моды Лоре Мёрфи, которая какое-то время проработала на почте, пока не вышла замуж за торговца спиртными напитками из Сент-Луиса. Расстроенная Верена публично заявляла, что он ей не пара. Поэтому все удивились, когда она подарила им поездку к Большому каньону в качестве свадебного путешествия. Назад молодожены

не вернулись; возле каньона они открыли автозаправочную и изредка посылали Верене свои фотографии, снятые на «кодаке», — источник одновременно радости и печали. Иногда она полночи, даже не открыв свои гроссбухи, сидела за столом, обхватив голову руками и вперившись в разложенные перед ней снимки. Наконец, убрав их подальше, она принималась ходить по комнате с выключенным светом, и вдруг раздавался пугающий вскрик, как будто она, споткнувшись в темноте, упала.

То место на чердаке, откуда я мог заглянуть в кухню, было забаррикадировано чемоданами, словно тюками с шерстью. А ведь именно кухня как центр домашних событий была главным объектом моего интереса: там Долли проводила большую часть дня, болтая со своей подружкой Кэтрин Крик. Мистер Урия взял последнюю в дом ребенком, когда та осиротела, и она, прислуживая, выросла вместе с сестрами Талбо еще на старой ферме, которую позже приспособили под железнодорожный склад. Долли она называла «сердце мое», а Верену не иначе как «Эта». Кэтрин жила на заднем дворе, во флигеле с серебристой оловянной крышей, увитом вдоль и поперек побегами каролинских бобов, в окружении подсолнухов. Себя она выдавала за индеанку, что вызывало у людей ироническую улыбку: она ведь была темнокожая, вылитый африканский ангел. Хотя, может, и не врала; во всяком случае одевалась она как настоящая индеанка: бирюзовые бусы и столько румян, что можно ослепнуть, ее щеки призывно горели, как задние фары автомобиля. Своих зубов у нее почти не осталось, и она затыкала дырки ватными тампонами,

а Верена возмущалась: «Кэтрин, ты же, черт побери, не в состоянии произнести ни одного внятного слова, так пойди уже, Христа ради, к доку Крокеру, и он тебе вставит зубы!» Понять ее было трудно, это правда, и только Долли помогала нам разобраться с этой кашей во рту своей подруги. А Кэтрин было довольно, что Долли ее понимает; они проводили все время вместе, и то, что им хотелось сказать, они говорили друг дружке. Приложив ухо к стропилам, я вслушивался в волнующее журчание женских голосов, стекавших сладкой патокой по обветшалым деревянным стенам.

На чердак вела лестница в бельевом чулане, упиравшаяся в люк. Однажды я полез наверх и вдруг вижу, что люк открыт настежь, а на чердаке кто-то тихо напевает — так мурлычат себе под нос играющие сами с собой маленькие девочки. Я уже собирался вернуться, когда пение смолкло и женский голос спросил:

— Кэтрин?

— Коллин, — ответил я, высовывая голову.

Передо мной возникла нетающая снежинка Доллиного лица.

— Вот где ты бываешь, мы так и подумали. — Ее слабенький голос, казалось, вот-вот разорвется, как папиросная бумага. В чердачной полутьме на меня глядели глаза одаренного человека, горящие, прозрачные, с зеленоватой искрой, как мятное желе, и в них читалось робкое признание: я не представляю для нее угрозы. — Ты играешь здесь, на чердаке? Я говорила Верене, что с нами тебе будет одиноко. — Нагнувшись, она пошарила в недрах бочки. — Ты мне не поможешь? Погляди в такой же. Я ищу

коралловый замок и мешочек с разноцветными перламутровыми камешками. Мне кажется, Кэтрин будет рада аквариуму с золотыми рыбками на день рождения. Как думаешь? Когда-то у нас был аквариум с тропическими скатами, так они друг дружку пожрали. Но я помню, как мы поехали их покупать, аж в Брютон, за шестьдесят миль. Так далеко я никогда не ездила и вряд ли еще когда-нибудь поеду. Ага, вот он, замок!

А вскоре я обнаружил и камешки, похожие на кукурузные зерна или на леденцы.

— Хотите леденец? — Я протянул ей мешочек.

— О, благодарю, — сказала она. — Обожаю леденцы, даже если они на вкус обыкновенные камешки.

Мы стали друзьями. Долли, Кэтрин и я. Мне было одиннадцать, и вот уже шестнадцать. Славы не прибавилось, но это были счастливые годы.

Я никого не приводил к себе и не собирался этого делать. Однажды я повел девушку в кино, а когда провожал ее домой, она спросила, нельзя ли ей ко мне зайти выпить воды. Если бы ее и вправду мучила жажда, я бы не отказал, но это было притворство, она просто хотела заглянуть внутрь, как и многие другие, поэтому я ей сказал, чтобы потерпела до дома. А она мне: «Всем известно, что Долли Талбо ненормальная, и ты тоже такой». Вообще-то, она мне нравилась, но тут я ее пихнул, и она пообещала, что ее брат начистит мне вывеску. Так и произошло: у меня на всю жизнь остался шрам у рта, куда он мне врезал бутылкой кока-колы.

Ну да, все говорили, что Долли — это Веренин крест и что в доме на улочке Талбо происходит та-

кое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Им виднее. Но для меня это были счастливые годы.

Зимой меня встречали из школы так: Кэтрин сразу открывала банку варенья, а Долли ставила на плиту огромный кофейник и совала в духовку сковороду с бисквитами, а когда она потом открывала духовку, по всей кухне распространялся запах горячей ванили. Долли, законченная сластена, постоянно пекла кексы, хлеб с изюмом, разное печенье и сливочную помадку; к овощам она даже не прикасалась, а из мясного ей нравились только куриные мозги величиной с горошину, которые проглатываешь, даже не успев толком распробовать. Из-за дровяной печи и открытого камина кухня была теплая, как коровий язык. Все, что удавалось зиме, это покрыть окна изморозью, обдав их своим холодновато-голубоватым дыханием. Если какой-нибудь волшебник пожелает сделать мне подарок, пусть это будет бутылка с голосами нашей кухни, с переливами смеха и надтреснутым бормотком огня, с ароматами сливочного масла, сахара и печеного теста — только без запаха Кэтрин, роднившего ее со свиноматкой по весне. Наша кухня больше напоминала уютную гостиную с вязаным ковриком и креслами-качалками, с фотографиями котят, к которым Долли питала слабость, с геранью, что цвела круглый год, с аквариумом Кэтрин, стоявшим на столе, покрытом клеенкой, а в нем золотые рыбки, помахивая хвостами, проплывали под арками кораллового дворца. Иногда мы составляли кроссворды, поделив между собой фишки, и если Кэтрин видела, что кто-то может закончить игру раньше ее, то она свои фишки прятала. Они помогали

мне с домашними заданиями; вот где сыр-бор. Долли была докой во всем, что касалось природы; она обладала нутряным чутьем пчелы, знающей, где растет самый лакомый цветок; она могла за день предсказать бурю или усыпанную ягодами смоковницу, привести тебя в грибное место, или к дуплу, где можно собрать дикий мед, или к потаенному гнезду, где цесарка отложила яйца. Стоило ей только оглядеться, как она уже понимала, что к чему.

Но по части домашних заданий Долли, как и Кэтрин, была полным профаном.

— Америка называлась Америкой задолго до Колумба. Ну да, иначе откуда бы ему знать, что он открыл Америку?

Ей вторила Кэтрин:

— Верно. «Америка» — это старое индейское слово.

Из них двоих круче была Кэтрин: она настаивала на собственной непогрешимости, и если ты не писал строго под ее диктовку, она начинала дергаться и проливала кофе. Но после ее высказывания про Линкольна — что он был наполовину негром, наполовину индейцем, с белой крапинкой — я перестал ее слушать. Даже я знал, что это не так. И все же я перед Кэтрин в долгу; если бы не она, еще не факт, что я дотянул бы до нормального человеческого роста. В четырнадцать лет я был не выше, чем Бидди Скиннер, а ведь его, я слышал, приглашали в цирк.

Не волнуйся, дружок, говорила мне Кэтрин, тебя просто надо чуть-чуть растянуть. Она меня тащила за руки и за ноги, даже за голову, как будто это яблоко, не желающее расставаться с веткой. И вот

вам, пожалуйста: за два года она меня растянула с четырех футов девяти дюймов до пяти футов семи дюймов, что доказывают зарубки хлебным ножом на дверном косяке в буфетной; пусть много с тех пор воды утекло, пусть в печке гуляет ветер, а на кухне поселилась зима, эти зарубки остаются живыми свидетелями.

Хотя в целом Доллино лекарство оказывало благотворное воздействие на заказчиков, порой приходили и такие письма: «Дорогая мисс Талбо, нам больше не понадобится настойка от водянки, так как несчастная кузина Белль, — (имена менялись), — на прошлой неделе умерла, упокой Господь ее душу». Тогда наша кухня превращалась в место скорби: сложив перед собой руки и качая головами, мои подружки с горечью вспоминали обстоятельства этого дела, и Кэтрин говорила: «Долли, сердце мое, мы сделали все, что могли, но Всевышний решил иначе». Верена тоже умела подпортить настроение, постоянно вводя новые правила или восстанавливая старые: «Делайте, не делайте, стоп, начали»; мы для нее были часами, и она следила за тем, чтобы мы тикали синхронно с ней, и горе нам, если мы убегали на десять минут вперед или на час отставали, — тут же раздавался голос кукушки Верены. «Эта!» — восклицала Кэтрин, на что Долли отзывалась: «Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!» — словно желая угомонить не столько подругу, сколько взбунтовавшийся внутренний голос. Я думаю, Верена в душе желала быть своей в кухне, но она скорее напоминала мужчину в доме, где много женщин и детей, и единственным доступным для нее способом установить с нами контакт были эмоциональные взрывы: «Долли,

избавься от этого кота, если ты не хочешь, чтобы у меня разыгралась астма! Кто оставил в ванной льющуюся воду? Кто сломал мой зонтик?» Ее дурное настроение растекалось по дому, как едкий желтый туман. «Эта!» — «Ш-ш-ш, ш-ш-ш!»

Раз в неделю, обычно по субботам, мы отправлялись в лес на весь день. Кэтрин зажаривала цыпленка и посыпала специями дюжину сваренных вкрутую яиц, а Долли паковала шоколадный слоеный пирог и запас волшебной помадки. И вот, укомплектованные, с тремя пустыми мешками из-под зерна, мы шли церковной дорогой мимо кладбища и дальше через поле с ковыль-травой.

Перед самым входом в лес росла двуствольная персидская сирень, то есть на самом деле два дерева, но их ветви так переплелись, что можно было перелезть с одного на другое, к тому же их соединял шалаш, просторный, основательный, всем шалашам шалаш, такой большой плот в лиственном море. Мальчишки, его построившие, если они, конечно, живы, должны быть глубокими стариками, ведь ему уже было лет пятнадцать-двадцать, когда Долли впервые его обнаружила, а к тому времени, когда она показала его мне, прошло еще четверть века. Попасть в него было не труднее, чем подняться по лестнице: ставишь ноги на сучки, а руками хватаешься за надежные вьющиеся стебли; даже Кэтрин с ее грузными бедрами и жалобами на ревматизм запросто одолевала подъем. Но любви к шалашу она при этом не испытывала. Она не понимала, в отличие от Долли, объяснившей мне, что это корабль, на котором ты плывешь вдоль затуманенного берега наших грез. Помяните мое слово, говорила Кэтрин,

эти старые доски держатся на гуляющих гвоздях, и когда доски подломятся, наши головы треснут вместе с ними.

Оставив провизию в шалаше, мы рассредоточились по лесу, каждый со своим мешком для лечебных трав и листьев и особых корешков. Никто, даже Кэтрин, не знал, что входит в настойку от водянки, Долли держала это в тайне, и нам не разрешалось заглядывать в ее мешок, который она прижимала к себе так, будто прятала там младенца с голубыми волосами, заколдованного принца. Вот ее рассказ:

— Давным-давно, в далеком детстве, — (Верена еще не распрощалась с молочными зубами, а Кэтрин была ростом со столбик в ограде), — здесь бывало цыган не меньше, чем птиц в зарослях ежевики, — не то что сейчас, когда за целый год тебе встретятся трое или четверо. Объявлялись они по весне, неожиданно, как розовые побеги кизила, причем повсюду — на дороге, в окрестных лесах. Нашим мужчинам они не нравились, папа, твой внучатый дядя Урия, говорил, что застрелит любого, если поймает его на нашем участке. Поэтому я помалкивала, что видела, как цыгане набирали воду в нашей речке или зимой воровали попадавшие на землю орехи пекан. Как-то раз, в апреле, я пошла под дождем в хлев, где недавно отелилась Пеструха, и там увидела трех цыганок — двух старух и одну молоденькую, совсем голую, которая елозила на ложе из кукурузной ботвы. Когда они поняли, что я их не боюсь и не побегу на них доносить, одна из старух попросила меня принести огарок. Я пошла в дом за свечой, а когда вернулась, та, что меня послала, держала за ножки, вниз головой, красного кричащего ребеночка,

а вторая доила Пеструху. Я им помогла искупать младенца в теплом молоке и завернуть его в шаль. А потом одна старуха взяла меня за руку и сказала: «Сейчас я тебя обучу стишку, это мой тебе подарок». Стишок был про вечнозеленую кору и стрекоз в зарослях папоротника, в общем, про все, что мы находим в нашем лесу. «Вари травку-золотянку, чтобы вылечить водянку». Утром цыганок уже не было. Я искала их в поле и на дороге, но все, что мне от них осталось, это выученный стишок.

Перекликаясь, ухая, как совы среди дня, мы трудились все утро в разных уголках леса, а в полдень с мешками, набитыми ободранной корой и нежными кореньями, снова забирались в зеленую паутину персидской сирени и раскладывали провизию. У нас была проточная вода в стеклянной банке, а в термосе горячий кофе на случай, если кто-то продрогнет, ну а жирные от цыпленка и липкие от помадки пальцы мы вытирали скомканными листьями. Позже, когда мы гадали по цветам и рассказывали друг другу свои сны, нам казалось, что мы плывем сквозь остановившееся время на зеленом плоту, мы были такой же неотъемлемой частью дерева, как посеребренные солнцем листья и усевшийся на ветку козодой.

Примерно раз в году я наведываюсь к дому на улочке Талбо и заглядываю во двор. И вот вчера я там наткнулся на перевернутую старую чугунную бочку; она лежала в лопухах, точно упавший черный метеорит. Когда-то Долли стояла над ней, вытряхивая из мешков в кипящую воду наши травяные сборы и помешивая бурое, как табачный плевок, варево спиленной ручкой метлы.

А мы с Кэтрин, подручные ведьмы, наблюдали со стороны. Позже мы помогали ей разливать вареву по бутылкам, а поскольку от него шли испарения, которые выбивали обычную пробку, я скручивал специальные затычки из туалетной бумаги. Продавалось в среднем шесть бутылок в неделю, по два доллара каждая. Вырученные деньги, решила Долли, принадлежали всем троим, и мы их сразу спешили потратить. Мы заказывали все подряд по рекламе в журналах: «Учись резьбе по дереву», «Пачизи: игра для старых и молодых», «Бабушка доступна любому». Однажды мы послали деньги за самоучитель французского языка. Моя идея: у нас будет свой тайный язык, недоступный для Верены и прочих. Долли захотела попробовать, но дальше «*Passez-moi*¹ ложку» у нее не пошло, а Кэтрин, выучив «*Je suis fatigué*»², больше книжку не открывала, так как ей этого вполне хватило.

Верена, хотя и поговаривала, что, если кто-то отравится, у нас будут неприятности, особого интереса к настойке от водянки не проявляла. Но в один прекрасный день мы подсчитали прибыль за год и поняли, что с нее надо платить налоги. Тут уж Верена начала задавать вопросы: для нее деньги были такой дикой кошкой, по следу которой она кралась, как опытный охотник, приглядываясь к каждой сломанной веточке. Какие ингредиенты, желала она знать, входят в настойку? Долли была польщена таким интересом и чуть не хихикала, однако замахала руками и ответила уклончиво: «Да разные, ничего особенного».

¹ Передайте мне (фр.).

² Я устала (фр.).

Верена вроде как оставила эту тему, притом что за ужином она частенько задумчиво посматривала на сестру, а однажды, когда мы втроем собрались во дворе вокруг бочки с варевом, я глянул вверх и увидел в окне Верену, пристально следившую за всем процессом. Я думаю, к тому времени она уже составила план действий, но первый шаг был сделан летом.

Два раза в году, в январе и в августе, Верена ездила за покупками в Сент-Луис или Чикаго. В то лето, когда мне исполнилось шестнадцать, она отправилась в Чикаго и через две недели вернулась в сопровождении некоего доктора Морриса Ритца. Естественно, все задавались вопросом, кто такой Моррис Ритц. В галстук-бабочке и развеселых пестрых костюмах, с синими губами и блестящими бегающими глазками, он напоминал мерзкую мышь. Говорили, что он поселился в лучшем номере отеля «Лола» и на ужин ест стейки в «Кафе Фила». Он ходил по улицам с важным видом, вертя напомаженной головой в сторону каждого встречного. Друзей у него не было, и появлялся он исключительно в компании Верены, при этом она ни разу не привела его в дом и никогда не упоминала его имени, пока однажды Кэтрин, набравшись наглости, не спросила: «Мисс Верена, а кто этот смешной человечек доктор Моррис Ритц?» Тут Верена побелела и ответила: «Не вижу в нем ничего смешного, в отличие от некоторых».

Отношения Верены с коротышкой-евреем из Чикаго люди находили скандальным: он был на двадцать лет моложе ее. Пронесся слухок, что они чем-то занимаются на старом консервном заводе

в другом конце города. И вправду занимались, как выяснилось позже, но не тем, о чем думали парни в бильярдной. Почти каждый день все видели, как Верена и доктор Моррис Ритц направлялись в сторону фабрики — заброшенного, полуразрушенного каменного строения с зияющими провалами вместо окон и просевшими дверями. Лет десять никто туда не заходил, кроме школьников, куривших там сигареты и устраивавших обнаженку. И вот в начале сентября из заметки в «Курьере» мы узнали, что Верена купила консервный завод, только там не говорилось, что она собирается с ним делать. А вскоре Верена велела Кэтрин зарезать двух кур, так как в воскресенье к нам на ужин пожалует доктор Моррис Ритц.

За все время, что я там жил, Моррис Ритц был единственным, кого пригласили на улочку Талбо поужинать. В общем, по многим причинам это было событие. Кэтрин и Долли сделали весеннюю уборку: выбили ковры, принесли с чердака китайский фарфор, натерли во всех комнатах полы, заблестевшие от воска и лимонного глянца. Гостя ждали жареные цыплята и ветчина с английским горошком и сладким картофелем, рулеты, банановый пудинг, два разных сладких торта и фруктовое мороженое из дежурной аптеки.

В воскресенье днем Верена зашла в столовую с проверкой; обеденный стол с раскидистым букетом роз персикового цвета в середине и рядами причудливо разложенных серебряных приборов, казалось, накрыт на двадцать персон, а стульев стояло только два. Верена приставила еще парочку, на что Долли отозвалась слабым голосом, что Коллин,

если захочет, может ужинать в столовой, но лично она поест вместе с Кэтрин на кухне. Верена топнула ногой:

— Не морочь мне голову, Долли. Это важно. Моррис специально придет, чтобы с тобой познакомиться. И вот что, подними повыше голову, сделай одолжение. Я не могу смотреть, когда ты ходишь понуряя.

Долли, не на шутку перепугавшись, спряталась у себя в комнате, и, после того как гость напрасно ее прождал, меня послали за ней. Она лежала на розовой постели с влажной фланелькой на лбу, а рядом сидела Кэтрин, вся такая лоснящаяся и нарумяненная, ну чисто леденец на палочке. Я сразу понял, какое количество ватных тампонов напихала она в рот, стоило ей прошамкать:

— Солнышко, вставай, а то вконец изомнешь чудное платьице.

Это платье из набивного ситца Верена привезла из Чикаго. Долли села на постели, чтобы разгладить складки, и тут же снова легла.

— Скажи Верене, что я ужасно сожалею, — пробормотала она жалобно.

Я вернулся со словами, что Долли заболела. Я сама разберусь, сказала Верена, и удалилась командирским шагом, оставив меня наедине с доктором Моррисом Ритцем. Какой же он был противный.

— Тебе, стало быть, шестнадцать. — Он мне подмигнул своими нахальными глазками, сначала одним, потом другим. — И уже выдрячиваешься, а? Уговори старушку в следующий раз взять тебя с собой в Чикаго. Там тебе будет перед кем выдрячиваться.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛОСА ТРАВЫ. <i>Перевод С. Таска</i>	5
ЗАВТРАК У ТИФФАНИ. <i>Перевод В. Гольшева</i>	147